

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



Александр Куприн

**Бонза**

«Public Domain»

1896

## **Куприн А. И.**

Бонза / А. И. Куприн — «Public Domain», 1896

«Это было в ночь под светлое Христово воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили по улицам города, приглядываясь к его праздничному, так необычайному в ночное время, движению и изредка обмениваясь впечатлениями. Я очень любил общество доктора...»

## Александр Иванович Куприн

### Бонза

Это было в ночь под светлое Христово воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили по улицам города, приглядываясь к его праздничному, так необычному в ночное время, движению и изредка обмениваясь впечатлениями. Я очень любил общество доктора. Несколько лет тому назад у него умерло четверо детей, и в конце концов жена оставила доктора, после того, как обоим убедились, что они не понимают друг друга со дня женитьбы. Да и вообще во всей своей жизни Субботин был неудачником, от школьной скамьи и до седых волос. Но несчастья не озлобили и не очерстили его сердца, а только придали его манерам, голосу, всему его существованию отпечаток ленивой грусти. Он был прекрасным собеседником и очень внимательным слушателем.

Наконец мы взобрались по длинной плитяной лестнице с широкими и низкими ступенями на самый верх Ярославовой горы, господствующей над всем городом, и уселись на одной из скамеек, устроенных для публики вдоль очень высокого и очень крутого обрыва. У наших ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей мы могли отсюда видеть, как подымались по соседним горам и вились вокруг них улицы. Сияющие колокольни церковей казались необыкновенно легкими и точно прозрачными. В самом низу, прямо перед нами, белела еще не тронувшаяся река с черневшими на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила луна. В прозрачном воздухе, в глубоких, резких тенях от домов и деревьев, в дрожавших переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность...

Я сидел, растроганный воспоминаниями тех радостных и наивных ощущений, которые в детстве возбуждал в моей душе этот великий праздник. Мной постепенно овладела острая и сладкая грусть, всегда сопровождающая воспоминания детства, – нечто вроде бессильного сожаления о невозможности еще раз испытать эти яркие и свежие впечатления.

И, как будто бы отзываясь на мои мысли, Субботин вдруг заговорил своим тихим, протяжным и грустным голосом:

– Каждый раз в эту ночь я никак не могу оторваться памятью от одного события из моей детской жизни. Странно: уж, кажется, меня жизнь так мыкала, что много есть чего вспоминать. Но все стерлось, выдохлось, поблекло, а эта незатейливая история стоит передо мной с такой удивительной живостью, будто она только вчера произошла. И когда я ее кому-нибудь рассказываю, то опять переживаю самые мелкие мелочи своих тогдашних ощущений.

Я, более из вежливости, чем из любопытства, попросил доктора поделиться со мной этой историей (я видел, что ему очень хочется ее рассказать). Сначала я слушал рассеянно и принужденно, следя глазами за облаками, быстро набегавшими на месяц и внезапно проникавшими оранжевым сиянием. Но потом безыскусственный рассказ доктора мало-помалу увлек меня и растрогал.

– Мне шел тогда восьмой год. Говорят, что через каждые семь лет меняется у человека и наружность, и состав крови, и характер, и привычки. Может быть, в этом и есть доля правды. По-моему, семилетний возраст действительно влечет за собою перелом в ребяческой душе: в это время дети так жадно и беспорядочно набираются впечатлений, что даже худеют и делаются рассеянными...

Мы жили в Москве. Отец был вечно занятый, серьезный человек. У меня мало о нем сохранилось воспоминаний: ясно представляю себе только его лысую голову, длинную черную бороду с приятным запахом табака и белые, большие руки. Мать – кроткая, болезненная женщина, очень худая и рано состарившаяся – побаивалась своего мужа, была с ним нежна,

с оттенком грусти, и постоянно куталась в серый платок из «козьего пуха». Нас, детей, было трое: я и Зинаида – почти ровесники и старшая – Надежда, совершеннолетняя, уже невеста. В этом году, за неделю до Пасхи, возвратился из кругосветного плавания ее жених – морской офицер, и гостил в Москве в ожидании Фоминой недели, на которой назначен был день свадьбы. Пребывание Николая Николаевича в нашем доме делало приближающийся праздник особенно торжественным. Я и Зина прекрасно знали, что за приготовления ведутся на кухне, и понимали, почему они гораздо пышнее, чем в прошлом году, но молчали. Дети почти всегда отлично понимают то, что им считают лишним объяснять, но из привычного недоверия к взрослым они очень ловко таят свое понимание.

Надежда важничала, чувствуя себя центром общего внимания и забот. Мы с Зиной отлично видели, что у нее в обыкновенное время не бывает ни той походки, ни того голоса, ни такой улыбки, как при женихе, и мы объяснили себе это тем, что Надька «ломается» и «что-то такое из себя строит, но у нее ничего не выходит». Часто, подсмотрев вечером в гостиной, как они целуются на диване, мы с невинным видом, взявшись за руки, проходили мимо них, заставляя их краснеть и отскакивать друг от друга. Ко мне Надежда относилась с тем презрительным, но сторожким невниманием, с каким всегда держат себя взрослые барышни по отношению к братьям-мальчишкам, всегда перепачканным, всегда готовым наступить на платье, угодить в лицо мячом или с разбегу подкатиться под ноги.

Зато Николая Николаевича мы обожали, в особенности я. Я прямо был влюблен в него, влюблен слепо, страстно и бескорыстно. Он казался мне образцом ума, силы и смелости. Я не изменял ему года четыре, и одним из моих любимейших развлечений в гимназии было иллюстрировать на маленьких, однообразного формата бумажках все те рассказанные им приключения из его жизни, которые я слушал и сохранял в памяти, как нечто священное. Да и нельзя было не любить этого высокого, сильного, краснощекого красавца с оглушительным голосом и заразительным смехом, всегда готового возиться и школьничать. Он от чистого сердца играл иногда с нами, детьми, и сестра Надежда глядела тогда на него – о, как мы это хорошо видели! – с натянутой улыбкой на губах и с ревностью во взоре. Мы с Зиной показывали ей язык и исполняли за ее спиной «пляску людоедов», едва она отворачивалась от нас.

Возвратившись из плавания, он всем нам привез подарки: чесунчу, японские и китайские безделушки, зонтики, веера, кокосовые орехи... Особенно хороша была вещица, которую он подарил своей невесте. Она представляла миниатюрную японскую пагоду из старой бронзы, увешанную цепями, колокольчиками, медальонами и другими побрякушками. Дверцы пагоды были растворены настежь и позволяли видеть сидящего в ней на корточках фарфорового бонзу с качающейся головой. Эта игрушка казалась мне великолепнейшим созданием искусства. Верхом счастья для меня была бы возможность хоть немного подержать ее в руках и самому заставить бонзу покачать головой. Но я отлично знал, что Надежда никому не позволяла прикасаться к своим вещам.

Наступила страстная суббота. Меня с сестрой то и дело высылали из комнаты в комнату, потому что мы всем мешали. «Хоть бы вы занялись чем-нибудь», – говорила мать, которой мы ежеминутно попадались под ноги. Но мы слишком были заинтересованы всем происходившим в доме, чтобы чем-нибудь заняться.

Вечером в полутемной зале расставили столы, накрытые новыми скатертями. Заглядывая украдкой в двери, отворявшиеся лишь на мгновение, мы мельком видели покрывавшие эти столы куличи, пасхи, окорока, бутылки и еще какие-то предметы. До нас доносился даже запах сдобного теста и ванили.

По мере того как приближалось время заутрени, наши нервы напрягались и волнение росло. В комнатах было темно, взрослые говорили мало и вполголоса, и все это, в связи с таинственными приготовлениями в зале, настраивало нас на ожидание чего-то чудесного, прекрасного и неожиданного.

Однако мы так устали и переволновались за день, что часов в десять вечера уже не в силах были бороться со сном и прикорнули в углу широкого турецкого дивана в гостиной. Засыпая, я случайно слышал, как в зале разговаривали сдержанные голоса и звенела посуда.

Потом нас разбудили. Еще не проснувшегося, дрожащего от холода и волнения, меня одели в лиловый бархатный костюмчик с белым кружевным воротником и повели в гостиную. Там уже все были в сборе: отец во фраке, надушенный и представительный, мать в палевом широком роброне, Надежда, казавшаяся чопорной, в белом платье, и Николай Николаевич в новом мундире, в широко открытой, ослепительно-белой, туго накрахмаленной рубашке. Все суетились, хотя и говорили вполголоса, а эти быстрые приготовления придавали нам такой вид, как будто бы мы составляли важный заговор.

Все, что происходило дальше, слилось для меня в одно сплошное и сложное впечатление блеска и радости. Я помню в этом блаженном сне только некоторые моменты. Когда крестный ход, обойдя вокруг церкви, приблизился к распахнувшимся средним дверям входа, то ожидание чуда, которое сейчас, *вот сию секунду* должно произойти, наполнило меня трепетом радостного испуга. За дверями стройные голоса, как будто бы дрожащие от восторга, громко запели: «Христос воскрес из мертвых». Священник вошел в новой ризе и приветливым, звучным голосом, благословляя прихожан трехсвечником, принес нам ту радостную весть, которую мы так нетерпеливо ожидали: «Христос воскрес!» И я, замирая и холодея от восторга, сознавая, что и я участвую в общей великой радости, выкрикивал громко: «Воистину воскрес!»

Николай Николаевич, похристосовавшись со мною, поднял меня на руках кверху, и я увидел целое море обнаженных голов и горящих свеч. Я обернулся назад и увидел множество светлых и добрых лиц и много глаз, которые блестели, отражая пламя свеч. Даже сестра Надежда показалась прекрасной в этот момент. Лицо ее, близко освещаемое свечой, сделалось белым и нежным, глаза потемнели и сверкали, от бровей падали на лоб длинные тени, и зубы красиво блестели, когда она улыбнулась, не поворачивая головы, Николаю Николаевичу.

Домой мы шли, держа в руках зажженные свечи, стараясь, чтобы они не потухли. Но только одной маме удалось донести свечу, и она провела огнем от нее крест на косяке парадных дверей.

В зале было так светло и весело, что я не узнал ее. Оживленно разговаривая и шумя стульями, мы усаживались за стол. В это время сестра Надежда, пожимая плечами, сказала, что ей холодно. Растроганный заутреней и ожиданием многих вкусных вещей, я взялся принести ей из комнаты платок. Она согласилась, и, когда я со свечой в руках побежал из залы, она крикнула мне вслед:

– Только смотри ничего не трогай у меня на комод!

Я очень скоро нашел ее платок, который лежал на спинке кресла, и уже вышел из дверей комнаты, как вдруг за моей спиной раздался звон и треск бьющегося фарфора. Я обернулся и увидел японскую пагоду лежащей на полу и рядом с ней разбитого бонзу.

Как это могло случиться, я не понимаю, но задеть игрушку я во всяком случае не мог, потому что проходил от нее шагах в пяти. Я поднял бонзу с полу и с чувством жалости к нему стал приставлять один к другому поломанные бока его туловища. Вдруг я услышал быстрые шаги Надежды, привлеченной, вероятно, шумом упавшей игрушки. Повинуясь мгновенному чувству страха, что меня могут заподозрить в нечаянной или умышленной порче сестриной вещи, я быстро бросил обломки на пол, но сделал это так неловко, что вбежавшая сестра заметила мое движение.

– Что ты наделал, дрянной мальчишка? – закричала она, хватая меня за плечо. – Ведь я тебе говорила, чтобы ты не трогал моих вещей. Как ты смел?.. Как ты смел?

Она была ужасно рассержена и, крепко вцепившись в мое плечо, повлекла меня в залу.

– Посмотри, папа, что он наделал, – жаловалась она со слезами в голосе, показывая при этом черепки разбитой игрушки. – Это он нарочно, нарочно сделал, скверный мальчишка.

И она расплакалась.

– Зачем ты это сделал? – спросил отец строгим голосом, вынимая из рук Надежды обломки и так же, как я за минуту перед этим, машинально составляя их вместе. – Сестра ведь предупреждала тебя!

Я отвечал, заикаясь:

– Папа, честное слово... это... не я... Я до нее... даже... не дотрагивался. Она сама упала, когда я выходил...

– Он лжет! Он лжет! – взвизгнула Надежда, отрывая платок от мокрого и злого лица. – Я сама видела, как он бросил куски на пол.

– Зачем же ты еще лжешь? – спросил отец, нахмуриваясь. – Если у тебя в руках были куски, значит, ты брал эту вещь.

Но я краснел, чувствуя, что все подозревают меня во лжи, и только твердил:

– Это не я... это не я... Я выходил, а она вдруг упала... Я взял ее с полу, чтобы посмотреть.

Тогда вступилась мама:

– Послушай, Дмитрий, зачем ты нам портишь такой великий праздник? Признайся и попроси у Нади извинения... И все будет кончено.

Лицо у нее было доброе и испуганное; ей, по-видимому, хотелось поскорее прекратить эту неприятную историю. Николай Николаевич сидел, опустив глаза в тарелку, и я видел, что он мучится за меня. Зина, выпрямившись на стуле, глядела взрослым в глаза и всем своим видом благонаправленной девочки точно хотела сказать: вы видите, это только он такой дурной мальчик, а я всегда веду себя хорошо и стараюсь никогда не огорчать папу и маму.

– Я прошу тебя не вмешиваться, – сурово перебил отец маму, – он сам должен знать, что ему делать.

Я чувствовал в эту минуту, что исполни я требование матери, и все обошлось бы хорошо. Меня пожурили бы немного, но потом все бы смягчилось, не желая портить хорошего настроения... Но во мне заговорила гордость, и я упрямо, с ужасом в сердце, повторял:

– Это не я... это не я... Он сам упал и разбился.

Тогда отец, раздраженный и покрасневший, схватил меня очень больно за шею и вытолкнул из комнаты.

– Ты лгун, и тебе не место с честными людьми, – закричал он мне вслед. – Убирайся в свою комнату и не смей приходить сюда!

Я убежал и бросился на свою кровать, лицом в подушки. Сначала мне казалось, что я задохнусь от избытка слез, кипевших у меня в груди и острым клубком распиравших мое горло. Я царапал подушку ногтями и грыз ее. Потом слезы прекратились, но мне уже нравились эти слезы несправедливо обиженного и страдающего мальчика, и я силился их вызвать воспоминаниями нанесенной мне обиды. Наконец глаза мои совсем высохли, и только легкое чувство насморка и жажда напомнили о слезах. Тогда я дал волю своему воображению. Я решил завтра же убежать из дому, захватив предварительно в кухне побольше хлеба, и поступить в монастырь. Я чрезвычайно живо представлял себе, как привратник ведет меня к настоятелю. «Что же вас привело в монастырь? – спрашивает меня настоятель, седой, высокий старик, с длинной бородой, в черной скуфье с нашитым на ней белым крестом. – Вы еще молоды, чтобы отречься от мира». Но я отвечаю ему: «Святой отец, меня изгнала из дома ненависть моих родителей. Меня преследовали, мучили и... и даже сказали, что я разбил японского бонзу...» Потом я представлял себе, как отец и мать, долго отыскивавшие меня, приезжают наконец в монастырь и узнают меня в черной монашеской одежде. Они со слезами просят меня воротиться к ним, раскаиваясь в своих подозрениях относительно бонзы. Я, конечно, прощаю их, но мне невозможно воротиться. Увы!.. Теперь уже слишком поздно. Я посвятил себя богу. И много дру-

гих то мстительных, то великодушных картин рисовалось в моем воображении. Через полчаса дверь детской тихо скрипнула, и я услышал голос Николая Николаевича, спрашивающий тихо:

– Где ты, Митя?

Я молчал. Да мне, огорченному так жестоко и незаслуженно, как-то и неловко было бы отвечать.

Но он сам в темноте отыскал меня, нагнулся надо мной и, щекоча мои щеки своими душистыми усами, стал меня целовать:

– Иди, Митя, в залу, иди, голубчик, – говорил он ласково. – Сделай мне удовольствие, если меня любишь. Ну извинись, ну что тебе стоит? Пойдем вместе.

Но я, хотя и расплакался, согретый этой неожиданной лаской, все-таки отказывался еще упорнее, чем раньше, выйти в залу. И Николай Николаевич вздохнул и, потрепав меня по спине, оставил меня в покое.

Уж рассветало, когда пришла мама, чтобы раздеть младшую сестру. Она подошла к моей кровати и пристально посмотрела на меня. Но я притворился спящим. Она перекрестила меня и, придвинула к моей постели стол, поставила на него кусок пасхи, ломоть кулича и красное яичко. Доктор Субботин помолчал, поерошил под шляпой волосы и прибавил:

– И вот, сколько со мной потом ни случалось огорчений и передряг, а эта неприятность с японским болванчиком одна только не изгладилась из моей памяти и стоит в ней, точно живая. И всегда это воспоминание о первой людской несправедливости, которую я испытал, вызывает во мне печальное и нежное воспоминание.